САМЫЕ СТРАШНЫЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ТОМАС НИДЕРВАЛЬД

Рождественские истории

КОНДИТЕРСКАЯ ЭБИГЕЙЛА КЭНДИСА



РОМАН-СКАЗКА · ЛОНДОН · 1864

12+

Томас Нидервальд

Рождественские истории. Кондитерская Эбигейла Кэндиса

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Рождественские истории. Кондитерская Эбигейла Кэндиса / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Лондон, декабрь 1864 года. Дамы Мейфэра платят шиллинг за леденец с Пудинг-лейн — и молодеют. Беспризорники, которые только нюхают их у витрины, седеют, слепнут и умирают стариками. Город считает всё, кроме них. Посыльный Том Пиклз, сын торговца чаем, отстранённый сыщик и мальчик, замёрзший у той же витрины тридцать лет назад, открывают книгу, где записано, сколько стоит каждый год детства. До сочельника — десять дней.

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Сочельник 1834 5
Часть первая. Сладкий дух 9
Глава первая. Город, который считает 10
Глава вторая. Пиклзы из Тэннери-корт 15
Глава третья. Кондитер 19
Глава четвёртая. Кристофер 24
Глава пятая. Щепка 28
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Томас Нидервальд
Рождественские истории.
Кондитерская Эбигейла Кэндиса

Пролог. Сочельник 1834

В ночь на Рождество тысяча восемьсот тридцать четвёртого года на Пудинг-лейн замёрз мальчик, и утром его не узнали.

Мальчика звали Джек Уитлоу. Ему было десять лет, и у него была метла. Больше у него не было почти ничего: рваная курточка с чужого плеча, мятый цилиндр без верха, который он нашёл в канаве у Биржи и носил с гордостью лорда, и перекрёсток на углу Ломбард-стрит. Перекрёсток Джек не покупал и не арендовал. Он его отвоевал — у двух мальчишек постарше, кулаками, в сентябре, — и с тех пор каждое утро сметал с него конский навоз, снег и грязь, чтобы господа в начищенных сапогах могли перейти улицу, не испачкавшись. Господа кидали ему фартинги. Иногда полпенни. Один раз, на Михайлов день, толстый джентльмен с золотой цепочкой бросил ему целый шиллинг, и Джек неделю ел горячий пирог с почками, а остаток отдал Барти.

Барти Уик был его другом. Ему было двенадцать, он был длинный и тощий, как жердь, и работал при фонарщике: таскал лестницу, чистил стёкла, получал за это два пенса в день и обещание, что когда-нибудь ему дадут собственный шест с огоньком. Ночевали они вдвоём в пустом ящике из-под апельсинов за рыбным рынком Биллингсгейт. В ящике пахло рыбой и апельсинами, и Барти говорил, что это лучше, чем пахнуть одной рыбой.

В ту зиму у них была ещё одна радость — кондитерская.

Она стояла на Пудинг-лейн, в двух шагах от Монумента, и принадлежала мистеру Джозайе Кэндису. До ноября это была обычная лавка, каких в Сити десятки: ячменный сахар, мятные палочки, марципановые свиньи к Рождеству. Мистер Кэндис был человек унылый, в долгах, с больной женой и маленьким сыном, и лавка его, как говорили соседи, «держалась на честном слове и на одном гвозде». Но в конце ноября что-то переменилось. Над дверью повесили новую вывеску. Часы над вывеской — старые, медные, отставшие ещё при покойном короле — вдруг пошли. Только назад.

И каждый вечер, в четыре, когда на Сити опускались сумерки, из кондитерской выплывал запах.

Описать его потом не мог никто. Одни говорили: малина. Другие — жжёный сахар и апельсиновая корка. Третьи — тёплое молоко, как в детстве, когда болеешь и мать сидит у кровати. Джек, у которого никогда не было ни молока, ни матери у кровати, говорил: «Пахнет, как будто тебя кто-то ждёт». И Барти, подумав, соглашался.

Они приходили к витрине каждый вечер. Не они одни. Голодные дети Сити — подметальщики, спичечники, продавцы кресс-салата, маленькие воришки с Флит-стрит — собирались у стекла, как мотыльки у лампы, и дышали. Стоять у витрины было бесплатно. Нюхать — тоже. В городе, где за всё надо было платить, это была единственная бесплатная вещь, и дети брали её полными лёгкими.

Напротив кондитерской, у стены, сидела на трёхногом табурете слепая старуха.

Откуда она взялась, Джек не знал. Её не было в октябре. В ноябре она уже сидела — маленькая, сгорбленная, в чёрной шали, с белыми, как вываренная кость, глазами — и держала в руке жестяную кружку. Ей не подавали: старух в Лондоне было больше, чем фартингов. Но

она, кажется, и не ждала. Она сидела, поводила длинным носом, принюхивалась и бормотала. Барти однажды подошёл поближе и разобрал:

— Детки-конфетки. Детки-конфетки. Одна, две, три…

— Считает, — сказал Барти. — Чего она считает?

— Нас, — сказал Джек и засмеялся.

Он тогда пошутил. Он ещё не знал, что это правда.

* * *

Двадцать четвёртого декабря был сильный мороз. Темза у берегов встала, в Биллингсгейте у торговок замёрзла рыба в корзинах, и её продавали, постукивая о прилавок, как поленья. У Джека в тот день было три фартинга. Он отдал два за горячую картофелину, разломил её пополам и половину отнёс Барти, который мёрз на лестнице у Монумента и не мог отойти. Третий фартинг он оставил «на Рождество». Утром, говорил он, купит на него леденец. Настоящий. Самый маленький, из банки у двери — но настоящий, в собственный рот, а не в нос.

В четыре часа они стояли у витрины.

Запах в тот вечер был сильнее обычного. Он был такой густой, что казалось, его можно потрогать. Джек прижался к стеклу и дышал, и с каждым вдохом ему становилось теплее, а потом — странное дело — холоднее. Тепло входило, а что-то другое выходило. Будто внутри него открыли маленькую форточку. Он отстранился, посмотрел на свои руки. Руки были как руки — красные, обветренные, с цыпками. Он снова прижался к стеклу.

— Хватит, Джек, — сказал Барти. Барти почему-то кашлял. Он кашлял уже неделю, и в волосах у него, надо лбом, появилась белая прядь, похожая на мазок мела. — Пойдём. У меня ноги замёрзли.

— Ещё чуть-чуть.

— Пойдём, говорю.

— Я догоню.

Барти ушёл. Он потом всю жизнь помнил, что ушёл. Он помнил это так отчётливо, как помнят только то, чего уже не исправишь: спину Джека у витрины, мятый цилиндр, метлу, прислонённую к стене, розовый свет из окна на снегу. И старуху напротив, которая повернула белые глаза ему вслед и сказала — ласково, как бабушка, — «иди, иди, сынок, ты своё отдал».

Ночью ударил такой мороз, что в Сент-Джеймсском парке нашли мёртвыми двух лебедей.

* * *

Утром двадцать пятого декабря, в половине седьмого, маленький Эбигейл Кэндис вышел на крыльцо отцовской лавки посмотреть, выпал ли снег.

Ему было семь лет. Он был круглый, розовощёкий и ужасно стеснялся своего имени: мать мечтала о дочери и, когда родился сын, назвала его в честь своей бабушки — из упрямства и из любви. Мальчишки на Истчипе кричали ему вслед «мисс Эбби» и «где твоё платьице». Эбигейл не обижался. Он вообще редко обижался. Он любил сахар, кошек и снег, и в то рождественское утро ему казалось, что мир создан специально для него.

Снег выпал. Он лежал на мостовой ровно и чисто, как сахарная глазурь на торте. Только у витрины на снегу что-то темнело.



У витрины, привалившись к стеклу лбом, сидел старик. Крошечный, ростом с ребёнка. Рядом к стене была прислонена метла.

Эбигейл подошёл ближе.

У витрины, привалившись к стеклу лбом, сидел старик. Крошечный, ростом с ребёнка. На нём была рваная детская курточка, на голове — мятый цилиндр без верха, а рядом к стене была прислонена метла. Лицо у старика было жёлтое, сморщенное, как прошлогоднее яблоко, губы ввалились, потому что во рту не было ни одного зуба. Седые волосы торчали из-под цилиндра тонкими редкими прядями. Ресницы были белые от инея. Глаза — открыты. Мутные, затянутые бельмом, как у старого пса.

В кулаке у старика был зажат фартинг.

Эбигейл не закричал. Он стоял и смотрел, и почему-то больше всего его поразило не лицо, а руки: маленькие, детские по размеру, с короткими пальцами — и при этом покрытые бурыми старческими пятнами, с узловатыми суставами, с ногтями, жёлтыми и толстыми, как рог. Детские руки, которым было лет девяносто.

Потом пришёл отец, и закричал уже отец. Потом пришёл констебль, потом ещё один, потом коронер в зелёном шарфе, который пил всю ночь и теперь был зол на весь мир, и особенно на покойников, которые не умеют умирать в удобное время. Пришли подметальщики с соседних улиц. Пришёл Барти Уик — бледный, с белой прядью, с лестницей на плече. Он посмотрел на старика у витрины и сказал:

— Это Джек.

Коронер засмеялся. Констебли тоже. Барти повторил: «Это Джек Уитлоу. Это его метла. Это его шляпа. Ему десять лет». И тогда коронер перестал смеяться и сказал, что если этот оборванец ещё раз откроет рот, его отправят в работный дом как бродягу, а там у него будет время подумать о разнице между десятью годами и девяноста.

В книге происшествий городской полиции появилась запись:

«25 декабря 1834 года. Пудинг-лейн, у кондитерской Дж. Кэндиса. Найден замёрзшим неизвестный старик, около восьмидесяти — девяноста лет, ростом с ребёнка, в детской одежде, при нём метла. Опознан подметальщиками как Джек Уитлоу, десяти лет. Опознание признано ошибочным. Похоронен за счёт прихода».

Джека похоронили на кладбище Кросс-Бонс, в Саутварке, где хоронили нищих и тех, кого больше негде было хоронить. Гроба не было: прихожане пожалели досок. Барти принёс на могилу метлу и воткнул её в мёрзлую землю. К весне метлу кто-то украл.

* * *

Вот, в сущности, и вся история. Город её не заметил. Город в те годы вообще многого не замечал — он рос, богател, строил доки и железные дороги, и замечать мёртвых подметальщиков ему было некогда.

Стоит, пожалуй, добавить несколько мелочей.

Той зимой у дам из хороших домов вошли в моду леденцы с Пудинг-лейн. Их называли «Утро» и платили за них безумные деньги. Говорили, что от них разглаживаются морщины. Говорили, что леди Аткинсон, которой было за шестьдесят, весной танцевала на балу у герцогини как девочка, и что у неё отросли новые зубы. Над этим посмеивались. Но покупали.

В марте тысяча восемьсот тридцать пятого года мистер Джозайя Кэндис расплатился со всеми долгами и купил дом в Ислингтоне — с садом, конюшней и чугунной оградой. Часы над его лавкой в тот же день пошли вперёд. Слепая старуха с Пудинг-лейн исчезла. Никто не видел, куда она делась. Зато в Сити появилась новая дама: молодая вдова, рыжая, в изумрудном бархате, с вуалью на правом глазу. Её видели в опере и на скачках. Потом перестали видеть и её.

Мистер Джозайя Кэндис стал пить. Он пил тихо, по-английски, в собственной гостиной, и к тридцать седьмому году допился до смерти. Перед смертью он позвал сына, которому было уже десять, и долго смотрел на него мутными глазами, будто собирался что-то сказать. Но сказал только:

— Не вари ничего чужого, Эбби. Слышишь? Никогда не вари чужого.

Эбигейл не понял. Он вспомнил эти слова через тридцать лет. Тоже зимой. Тоже под Рождество.

А Барти Уик к пятнадцати годам выглядел на тридцать, к двадцати пяти — на пятьдесят, и его не брали ни в какую работу, кроме самой простой. Он стал фонарщиком. Каждый вечер он поднимался по лестнице к газовым рожкам Сити, зажигал их длинным шестом и пел себе под нос песенку, которую сочинил сам, в ящике из-под апельсинов, в ту первую ночь, когда остался один:

Сладкий дух — не для бедных носов,

не дыши у чужих леденцов:

кто вдохнёт — тот отдаст свой год

и седым к Рождеству придёт.

Песенку слышали тысячи детей. Ни один не понял.

Так всегда бывает с предупреждениями. Их поют на улице, громко и бесплатно, — и именно поэтому никто не принимает их всерьёз.

Часть первая. Сладкий дух

Сладкий дух — не для бедных носов,

не дыши у чужих леденцов…

— песенка фонарщика с Пудинг-лейн

Глава первая. Город, который считает

В декабре тысяча восемьсот шестьдесят четвёртого года Лондон был самым большим городом на свете, и он умел считать.

Он считал с рассвета. В шесть утра, когда фонарщики гасили последние газовые рожки на Чипсайде, на рынке Ковент-Гарден уже взвешивали капусту — по полпенни за кочан, и каждый кочан был взвешен, а каждый полпенни записан. В семь открывались конторы Сити, и тысячи клерков в одинаковых чёрных сюртуках садились за одинаковые конторки и макали одинаковые перья в одинаковые чернильницы. В восемь начинала гудеть Биржа. К девяти через Лондонский мост проходило двадцать тысяч человек — это число в прошлом году посчитали нарочно, двое полицейских с щёлкающими счётчиками, и напечатали в «Таймс». Двадцать тысяч в час. Город гордился этой цифрой, как гордятся ростом сына.

Считали всё. Сколько угля сгорело за ночь в каминах Мейфэра — и сколько его недожгли в каминах Саутварка. Сколько стоит гусь: семь шиллингов у Лиденхолла, шесть с половиной на Смитфилде, если поторговаться. Сколько стоит человек. Последнее, разумеется, вслух не считали. Но считали.

Прачка в Бермондси зарабатывала шиллинг и шесть пенсов в день. Клерк в банке — тридцать шиллингов в неделю, если повезёт. Банкир — столько, что цифру не печатали в газетах из приличия. Мальчик-посыльный — пенни за поручение. Мальчик-подметальщик — фартинг за перекрёсток, если господин в хорошем настроении. Девочка, продающая спички, — ничего, если идёт дождь и спички отсырели.

Город был устроен как огромные часы, в которых каждое колёсико знало свою цену. Большие колёса крутились медленно и важно. Маленькие — быстро и до изнеможения. А вместе они показывали время, которое называлось «прогресс».

В ту зиму, как и в любую другую, город готовился к Рождеству.

На Риджент-стрит в витринах стояли ёлки из Германии — мода, которую завёл покойный принц-консорт и которую Лондон подхватил с жадностью новообращённого. В Мейфэре заказывали гусей, индеек, пудинги в полотняных мешочках, апельсины из Севильи, по пенни за штуку, и вино из Опорто, по шиллингу за бутылку. Дамы выбирали в лавках шёлковые ленты по три пенса за ярд и фарфоровых кукол с настоящими ресницами по фунту за штуку. Фунт — двадцать шиллингов. Тринадцать с лишним дней стирки чужого белья.

А за рекой, в Саутварке и Бермондси, в Уоппинге и Уайтчепеле, к Рождеству готовились по-другому. Там на гуся копили. Весь год, по пенни, по два, в жестяной банке на полке или в «гусином клубе» при трактире, где хозяин вёл книжечку и в декабре, если не сбегал с кассой, выдавал каждому по птице. Гусь в бедном доме был не едой, а событием. Его обсуждали за месяц. О нём вспоминали до весны.

Мороз в тот год пришёл рано, в конце ноября, и все ему радовались — и богатые, и бедные. Богатые — потому что мороз был красив: иней на ограде Гайд-парка, катки на Серпентайне, румяные лица под меховыми капорами. Бедные — потому что мороз убивал заразу, подсушивал грязь, и улицы, по которым приходилось ходить, на время становились почти чистыми. Мальчишки раскатывали ледяные дорожки прямо на мостовых и летели по ним с разбегу, раскинув руки. Церковные хоры пели на перекрёстках. Дамы в чёрном звенели кружками: «На тёплый угол сироткам! Подайте на Рождество!»

В Лондоне на Рождество у всех одинаковый мороз. Но шубы у всех разные. Это так же верно, как то, что дважды два — четыре, и так же мало кого огорчает.



Город был устроен как огромные часы, в которых каждое колёсико знало свою цену.

* * *

Но больше всего в ту зиму Лондон говорил о кондитерской на Пудинг-лейн.

Пудинг-лейн — узкая крутая улочка, сбегающая от Истчипа к реке. Над ней поднимается Монумент — колонна высотой в двести два фута, с золотой урной-пламенем наверху. Колонну поставили в память о Великом пожаре: в тысяча шестьсот шестьдесят шестом году в пекарне на Пудинг-лейн загорелась печь, и через четыре дня от Лондона осталась половина. С тех пор Пудинг-лейн считалась улицей особенной — то ли проклятой, то ли счастливой, смотря кого спрашивать. Пекари и кондитеры здесь держались за свои лавки цепко, как за фамильное серебро.

Кондитерская, о которой говорили, стояла в середине улочки. Над дверью висела вывеска с золотыми буквами по тёмно-вишнёвому полю: «Э. КЭНДИС. Леденцы, марципан, засахаренные фиалки». Над вывеской — круглые медные часы.

С первого декабря часы шли назад.

Это заметил не кто-нибудь, а мистер Элайас Финч, часовщик с Ломбард-стрит, который каждое утро проходил мимо, сверяя свой карманный хронометр с курантами Сент-Пола. Он остановился, посмотрел, снял шляпу, протёр очки, снова посмотрел. Минутная стрелка ползла от двенадцати к одиннадцати. Мистер Финч был человеком точным. Он зашёл в лавку и предложил хозяину починить часы за полкроны. Хозяин — круглый, лысый, с рыжими бакенбардами — улыбнулся ему так, как улыбаются фарфоровые пастушки на каминной полке, и сказал: «Чините». Мистер Финч починил. Часы пошли вперёд. Мистер Финч спустился с лестницы, надел шляпу, сделал три шага — и услышал за спиной тихий щелчок. Он обернулся. Минутная стрелка дрогнула и поползла назад.

Он чинил их трижды. На третий раз он вернул хозяину полкроны и сказал фразу, которую потом повторял в клубе часовщиков, и все смеялись:

— Часы, которые идут назад, показывают время ничуть не хуже остальных, сэр. Просто не то время.

Смеялись все, кроме самого мистера Финча. Он был человеком точным и знал, что механизм, который сам себя переводит назад, — это не поломка. Это намерение.

* * *

А ещё был запах.

Каждый день ровно в четыре, когда на Сити опускались сумерки и фонарщики выходили со своими лестницами, из-под двери кондитерской выплывал запах. Он тёк по Пудинглейн невидимой рекой, сворачивал на Истчип, поднимался к Монументу, растекался по Кинг-Уильям-стрит. Клерки, выходившие из контор, вдруг замедляли шаг и улыбались чему-то своему. Кебмены переставали ругаться. Лошади поднимали головы.

Пахло жжёным сахаром и малиной. Апельсиновой коркой и мятой. И ещё чем-то, чему не было названия, — тёплым молоком, которое пьют на ночь, когда тебе пять лет, а за окном падает снег и мать сидит рядом. Людям, у которых никогда не было ни молока, ни матери у кровати, запах казался тем, чего у них не было. Это и было в нём самое страшное — но об этом пока никто не думал.

В витрине стояли стеклянные банки с леденцами. Алые, как грудка снегиря. Лимонные, как фонарь в тумане. Мятные — цвета льда на пруду, если смотреть сквозь него на солнце. Фиалковые, розовые. Они светились даже в сумерках. Не отражали свет — светились, будто внутри у каждого горела крошечная свечка.



Они прижимались к стеклу так, что носы становились белыми и плоскими, как пуговицы. Стоять у витрины было бесплатно.

Простые леденцы, в банке у двери, стоили два за пенни. А в центре витрины, на подушке из вишнёвого бархата, стояла коробочка с надписью: «УТРО. Вкус детства. Один шиллинг».

Шиллинг за один леденец. Почти два больших хлеба. Полдня работы прачки.

Дамы из Мейфэра и Белгравии приезжали за «Утром» в каретах. Брали дюжинами — коробка в двенадцать штук стоила полгинеи. И вот что было удивительно, о чём шептались в гостиных и что потом, весной, пытались объяснить врачи с Харли-стрит: дамы, которые ели «Утро», молодели. Не на вид, не от пудры и не от удачной шляпки. По-настоящему. Разглаживались морщины у глаз. Седые пряди темнели от корней. Возвращался румянец, которого не было двадцать лет. Леди Гонория Пеннивейт, жена банкира с Ломбард-стрит, шестидесяти шести лет от роду, к середине декабря перестала носить очки и, по слухам, выбросила вставную челюсть, потому что та стала ей мешать.

Дамы поменьше рангом, жёны стряпчих и торговцев, покупали по одному леденцу, по воскресеньям, как причастие.

Бедные дети «Утра» не ели. У бедных детей не было шиллингов. Зато у них были носы.

Каждый вечер в четыре у витрины собиралась толпа. Подметальщики с мётлами, продавцы спичек с лотками на верёвке через шею, девочки с корзинками кресс-салата, мальчишки-газетчики с непроданными «Пенни Пост» под мышкой, маленькие посыльные. Они прижимались к стеклу так плотно, что носы становились белыми и плоскими, и дышали. Глубоко. Жадно. Закрыв глаза. Некоторые стояли по часу, пока лавочник с соседней табачной лавки не выходил и не разгонял их метлой. Через десять минут они возвращались.

Стоять у витрины было бесплатно. В Лондоне, где за всё на свете надо было платить, это была единственная бесплатная радость, и дети брали её полной грудью.

А напротив кондитерской, у стены табачной лавки, сидела на трёхногом табурете слепая старуха.

Она была крошечная — когда сидела, её голова едва доставала до пояса прохожих — и сгорбленная так, что подбородок почти лежал на коленях. Чёрная шаль, серый платок, митенки с отрезанными пальцами. Нос длинный, острый, с горбинкой, всё время в движении: он поводил из стороны в сторону, как у собаки, которая ищет след. Глаза — оба — белые, без зрачков, как вываренная кость. В руке жестяная кружка. Ей почти не подавали: на Пудинг-лейн все спешили, а старух в Лондоне было больше, чем фартингов. Но, кажется, она и не ждала подаяния. Она сидела, принюхивалась и бормотала себе под нос. Если подойти ближе — а подходили немногие, потому что от старухи пахло, как от погреба, где давно сгнили яблоки, — можно было разобрать:

— Детки-конфетки… детки-конфетки…

Будто считала.

В четверть пятого на Пудинг-лейн приходил фонарщик. Его звали мистер Уик, и он казался очень старым: седая щетина, впалые щёки, спина колесом, руки в бурых пятнах. Он ставил лестницу к фонарю у кондитерской, поднимался, медленно, ступенька за ступенькой, отдыхая на каждой третьей, и зажигал рожок длинным шестом с огоньком на конце. И пока он поднимался, он пел. Тихо, хрипло, будто для себя. Всегда одно и то же:

Сладкий дух — не для бедных носов,

не дыши у чужих леденцов:

кто вдохнёт — тот отдаст свой год

и седым к Рождеству придёт.

Дети слышали и смеялись. Песенка была смешная. Как это — отдать год? Год — не пенни. Его в карман не положишь, у мальчишки не отнимешь. Год просто проходит, сам по себе, хочешь ты этого или нет.

Только слепая старуха, когда фонарщик пел, переставала бормотать. Она поворачивала к нему белые глаза. И улыбалась — так, как улыбается кредитор, когда должник в сотый раз обещает заплатить в пятницу.

* * *

Вечером шестого декабря, в шесть часов, когда фонари на Пудинг-лейн уже горели, а витрина кондитерской светилась розовым, как внутренность раковины, в работном доме прихода Сент-Мэри на Уайтчепел-роуд доктор Сэмюэл Прайор, шестидесяти лет, осмотрел девочку по имени Мэри Доусон, восьми лет, поступившую утром с жалобами на кашель и слабость.

Он слушал её грудь трубкой. Он смотрел ей в рот при свете свечи. Он долго держал в руке её маленькую ладонь, на которой кожа стала тонкой и сухой, как папиросная бумага, и перебирал её волосы — тонкие, серые, ломкие, оставлявшие на его пальцах целые пряди.

Потом он вышел в коридор, где пахло карболкой и варёной брюквой, достал из кармана фляжку и сделал большой глоток. Доктор Прайор пил уже двадцать лет и знал, что пьёт. Но руки у него до сих пор не дрожали, и в работном доме его считали лучшим врачом, какого приход мог себе позволить за восемьдесят фунтов в год.

В журнале он записал:

«Мэри Доусон, 8 лет. Кашель сухой, хрипы в обоих лёгких. Волосы седые, выпадают. Зубы шатаются (выпали два нижних резца). На руках старческие пятна. Катаракта, левый глаз. Сердце — перебои. Диагноз: …»

Здесь он остановился и долго смотрел на перо. А потом написал единственное слово, которое подходило, и которое он сам не мог себе объяснить:

«…старость».

Мэри Доусон была третьей за неделю.

Глава вторая. Пиклзы из Тэннери-корт

Среди детей у витрины часто стоял мальчик по имени Томас Пиклз, одиннадцати лет, и он был из тех мальчиков, про которых соседи говорят «этот плохо кончит», а учителя воскресной школы — «этот далеко пойдёт», и правы бывают, как ни странно, и те и другие.

Фамилия «Пиклз» означает по-английски «солёные огурчики». Ещё так говорят про человека, который вляпался: «он в пикле», то есть в рассоле, в переделке. Тому подходило и то, и другое. Он был колючий, как огурчик, и в переделки попадал с той же лёгкостью, с какой другие попадают под дождь.

Он был худой, жилистый, веснушчатый, с рыже-каштановыми вихрами, которые не брал ни гребень, ни мамина ладонь, смоченная в воде. Вихры торчали из-под серой кепки — отцовской, великоватой, с пуговкой на макушке, — которая вечно сползала на нос. Куртка у Тома была коричневая, перешитая из братниной, с заплатками на локтях и на боку, и рукава за осень стали так коротки, что из них торчали красные запястья. Штаны серые, с заплаткой на колене, которую мама положила крупными стежками «на вырост». Башмаки — тоже от старшего брата, Неда, и такие большие, что Том набивал в носки газету. У правого отставала подошва, и, когда Том бежал, она шлёпала по мостовой: шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Весь Сити знал этот звук.

И ещё у Тома был шарф. Длинный, красный, вязаный. Мама связала его осенью из своего старого свитера, распустив его ночью при огарке, и Том носил шарф с таким видом, будто это орден Подвязки. Он никогда не говорил, что любит этот шарф. Он бы скорее съел свою кепку. Но он ни разу его не потерял, а это для мальчика из Саутварка равносильно признанию в любви.

Том работал посыльным. Его рабочий день начинался в семь, у ступеней Королевской биржи, где стояли такие же, как он, мальчишки и ждали, пока из какой-нибудь конторы не высунется клерк и не крикнет «Эй, ты!». Отнести письмо на Чипсайд. Пакет с бумагами — в банк «Пеннивейт и Ко» на Ломбард-стрит. Записку стряпчему на Чансери-лейн, а оттуда — ответ обратно. За поручение — пенни. За дальнее — два. За срочное, если клерк был в духе, — три. В хороший день выходило шесть-семь пенсов. В плохой — два. В очень плохой Том возвращался домой ни с чем, и тогда он ещё на мосту начинал придумывать, что скажет маме, а потом ничего не говорил, потому что мама всё понимала сама.

Заработанные пенни Том носил в левом кармане и всё время пересчитывал пальцами. Раз, два, три. Это было приятно, как гладить кошку.

Он знал Сити так, как кэбмены не знают. Знал проходные дворы, через которые от Биржи до Монумента выходило вдвое быстрее. Знал, в какой конторе клерки дают на чай, а в какой — по шее. Знал, что швейцар банка «Пеннивейт» пропускает посыльных только через чёрный ход, и что в этом чёрном ходу всегда пахнет сургучом и мышами, а на лестнице висит портрет сэра Олдоса Пеннивейта, у которого усы как у моржа и глаза как у моржа. Знал, что у старика-ростовщика на Хаундсдиче вставной глаз, и что если спросить про погоду, он вынимает глаз и протирает его платком.

В свободное время, которого было немного, Том гонял с мальчишками в Тэннери-корт, играл в «котелки» и в «короля горы», кидался снежками и дрался. Дрался он не со зла, а от любопытства — ему было интересно, кто сильнее. Обычно оказывалось, что он. Иногда — что нет. Второе его тоже устраивало, потому что тогда было понятно, с кем стоит подружиться.

* * *

Пиклзы жили в Саутварке, по ту сторону Лондонского моста, в Тэннери-корт — тесном дворе позади кожевенных заводов Бермондси. Во дворе всегда пахло дубовой корой, квасцами и мокрой шкурой, и запах этот въедался в одежду так, что в Сити Тома иногда прогоняли от дверей контор: «Иди, иди, кожевенник». Том не обижался. Он привык.

У Пиклзов были две комнаты на втором этаже, четыре шиллинга в неделю, плюс уголь, плюс свечи, плюс то, что хозяин, мистер Гоббс, брал «за лестницу», хотя лестницу не чинили с коронации. В двух комнатах жили девять человек.

Мама, Марта Пиклз, урождённая Хаунд, тридцати шести лет, была прачкой. Она стирала у себя дома — в большом деревянном корыте у печки — бельё трёх семей из Сити и одной гостиницы при вокзале. Работала с пяти утра до девяти вечера. Руки у неё были красные, распухшие, с трещинами на костяшках, которые зимой кровили, и тогда она мазала их гусиным жиром и бинтовала на ночь тряпицей. Она носила синий платок, закатывала рукава до локтей и почти никогда не садилась. За день стирки ей платили шиллинг и шесть пенсов.

У Марты была поговорка: «Чужое сладкое горше своего хлеба». Она говорила её, когда дети завистливо смотрели на чужие пироги, когда муж приходил с ярмарки с пустыми карманами, когда соседка хвасталась новой шляпкой, купленной в долг. Том не очень понимал, что она значит. Но звучало правильно.

Папа, Джо Пиклз, сорока лет, был столяром. Большой, широкий, с чёрной бородой, в которую вечно набивались опилки, в кожаном фартуке, с плотницким карандашом за ухом. Он работал в мастерской мистера Хиткота на Тули-стрит и делал мебель для богатых домов: стулья с гнутыми спинками, комоды на львиных лапах, книжные шкафы из ореха и красного дерева. Получал пять шиллингов в день — хорошие деньги, если работа есть, и никакие, если её нет. Работа была не всегда. Дома у Пиклзов не было ни одного стула с гнутой спинкой — только табуретки, которые Джо сколачивал из обрезков, и одна скамья, которую он сделал на свадьбу и которой очень гордился.

Джо смеялся так громко, что в буфете звенели чашки. Он любил жену, детей, пиво по субботам и споры о политике, в которой ничего не понимал. Иногда, раз в месяц, он пропивал в «Голове королевы» на Бермондси-стрит больше, чем следовало, и тогда Марта молчала с ним три дня, и это было страшнее любой ругани.

Ещё были дети. Лиззи, четырнадцати лет, мамина правая рука, тихая, с вечно мокрыми от стирки руками и с привычкой краснеть до ушей, когда к ней обращался кто-нибудь мужского пола. Нед, тринадцати, — работал в доках на разгрузке, приходил домой затемно, пахнущий рекой, смолой и табаком, который ему ещё не полагалось курить, и считал себя почти взрослым. Потом Том. Потом близнецы Сэм и Сид, девяти лет, — одинаковые до последней веснушки, их не мог различить никто, кроме мамы, и они этим беспощадно пользовались. Потом Полли, семи лет, — светлые косички, голубые глаза и красный капор, который ей подарила хозяйка-гостиница на прошлое Рождество и который Полли не снимала даже дома. И малышка Энни, годовалая, которая умела говорить только «дай» и «Том», и это второе слово было предметом тайной гордости Тома и громкой зависти близнецов.

На полке над печкой стояла жестяная банка из-под чая. На ней мама написала углём: «ГУСЬ». В банку весь год кидали по два пенса, когда могли, и по пенни, когда не могли. Иногда — когда совсем не могли — из банки брали. Тогда мама клала туда бумажку с надписью «2 п. — на уголь» или «4 п. — на доктора для Энни» и потом, с первой же возможности, бумажку вынимала и клала монеты обратно. К декабрю в банке было пять шиллингов и девять пенсов. До гуся не хватало совсем немного. Каждый вечер кто-нибудь из детей снимал банку с полки, тряс её и слушал. По звону можно было почти точно сказать, сколько там. Этому Том научил всех.

* * *

По воскресеньям к Пиклзам приходил дядя Тим.

Дядя Тим был маминым младшим братом. Звали его Тимоти Хаунд, и он служил сыщиком-сержантом в Скотленд-Ярде, в сыскном отделении столичной полиции. «Хаунд» значит «гончая». Мальчишки в Тэннери-корт считали, что фамилию ему дали за службу, как дают ордена, и Том не спешил их разубеждать.



Колбаски шипели на сковородке, как маленькие рассерженные змеи. «Факты, Томми, — говорил дядя Тим. — Сначала факты. Потом страшилки».

Дяде Тиму было тридцать восемь. Он был высокий, худой и немного сутулый, как человек, который всю жизнь заглядывает в окна, расположенные ниже его роста. Носил длинное коричневое пальто-ольстер, котелок, перчатки с заштопанными пальцами. У него были пышные каштановые усы, длинный нос, серые внимательные глаза и трубка, которую он не курил. Он её жевал. Курить он бросил десять лет назад, когда заметил, что запах табака выдаёт его в засаде, а трубку оставил — «для мыслей». Мундштук был изгрызен так, что держался на честном слове.

Получал дядя Тим два фунта в неделю. Для Тэннери-корт это было богатство. Для Скотленд-Ярда — жалованье человека, которого начальство давно перестало замечать. Тиму не повышали чин уже восемь лет. В отделе говорили, что Хаунд — хороший сыщик и плохой служака: он слишком часто находил то, чего не просили искать.

Он всегда приходил с бумажным свёртком, а в свёртке были колбаски от мясника на Боро-маркет — шесть штук, по одной на каждого старшего и одна на двоих младших. Колбаски жарили на сковородке на печке, и они шипели и плевались жиром, как маленькие рассерженные змеи. Дети садились вокруг — на табуретки, на скамью, на пол, — а дядя Тим рассказывал. Про карманников с Пиккадилли, которые работали втроём, как часовой механизм. Про фальшивомонетчика из Кларкенуэлла, которого он поймал по запаху олова в волосах. Про медиума, который вызывал духов в гостиных Кенсингтона и которого он разоблачил, наступив под столом на его босую ногу, державшую бубен.

— Факты, Томми, — говорил дядя Тим и стучал трубкой по столу. — Сначала факты. Потом страшилки. Если перепутаешь порядок — всю жизнь будешь бояться не того.

В воскресенье, четвёртого декабря, колбаски съели, дети разошлись по кроватям — по три-четыре на одну, валетом, — и мама поставила на стол чайник. Дядя Тим сидел на отцовской скамье, вытянув длинные ноги к печке, и молчал. Он молчал дольше обычного. Джо уже храпел за занавеской. Марта гладила — тяжёлым чугунным утюгом, который грела на плите, — чью-то накрахмаленную манишку.

Том не спал. Он лежал между близнецами, в темноте, с открытыми глазами, и слушал. Он всегда слушал, когда взрослые думали, что дети спят. Так он узнал про то, что у мамы когда-то была сестра, и про то, сколько Нед на самом деле отдаёт в дом, а сколько оставляет себе.

— У нас странное дело, Марта, — сказал наконец дядя Тим. — Точнее, не у нас. Не в Ярде. Ярд этим не занимается. Это у Прайора.

— У доктора из работного дома?

— У него. Мы с ним иногда пьём в «Синем якоре». Он мне рассказывает. Я ему. — Дядя Тим пожевал трубку. — У него за две недели заболели четверо детей. Не простуда. Не корь. Не тиф. Он говорит — старость.

Утюг остановился.

— Что значит — старость? У детей?

— Волосы седеют и выпадают. Зубы шатаются. Кожа на руках — как у бабки. Одышка. У одного мальчишки, семи лет, Прайор нашёл катаракту. Ты знаешь, что такое катаракта, Марта? Это когда глаз белеет. У стариков. Он мне показывал. Мальчишка семи лет смотрит на тебя глазом восьмидесятилетнего.

Марта долго молчала. Том слышал, как утюг опустился на подставку — тихо, осторожно, будто она боялась кого-то разбудить.

— Откуда эти дети?

— В том-то и дело. Отовсюду. Подметальщики, спичечники, газетчики. Беспризорные. Двоих привёл констебль с Ломбард-стрит, одна сама пришла. Никакой связи. Прайор думает — что-то в воде. Или в угле. Он написал попечителям. Попечители ответили, что работный дом существует для призрения бедных, а не для научных изысканий, и что если доктор Прайор найдёт время на меньшее количество джина, у него не будет времени на фантазии.

— А ты что думаешь?

— Я? — Дядя Тим помолчал. — Я ничего не думаю, Марта. Мне не за что думать. Нет преступления, нет пострадавшего, который подал бы жалобу, нет подозреваемого. Есть больные дети. Больные дети в Лондоне — это не новость. Это погода.

— Это не полицейское дело, Тим.

— Не полицейское, — согласился он. И снова пожевал трубку. — Но мне не нравится.

Он встал, надел ольстер и котелок. В дверях обернулся.

— Марта. Твои — они не ходят к той кондитерской? На Пудинг-лейн?

— Откуда мне знать, куда они ходят. Том бегает по всему Сити. А что?

— Ничего. Прайор сказал, что двое из его четверых говорили о леденцах. В бреду. Мол, пахнет леденцами. — Он покачал головой. — Глупости. Им всем в бреду пахнет едой. Спокойной ночи, сестрёнка.

Дверь закрылась. Шаги дяди Тима простучали по лестнице, которую не чинили с коронации, и стихли во дворе.

Том лежал в темноте и думал о витрине. О розовом свете на снегу. О запахе, от которого становится тепло, будто тебя кто-то ждёт.

«Глупости, — подумал он, совсем как дядя Тим. — Им всем в бреду пахнет едой».

И уснул.

Глава третья. Кондитер

Эбигейл Кэндис узнал её сразу, как только она вошла, — и тридцать лет его жизни сложились пополам, как бумажный веер.

Это было четырнадцатого ноября, в понедельник, около девяти вечера. Лавка уже была закрыта, ставни опущены, и Эбигейл сидел в задней комнате над счётной книгой при свете одной свечи. Свечи он теперь экономил. Он экономил на всём: на угле, на сахаре, на чае, на мыле. В последний месяц он стал экономить на еде и с удивлением обнаружил, что это проще всего — человек, оказывается, может долго обходиться без многого, если у него есть цель. Цель у Эбигейла была одна: дотянуть до Нового года и не потерять лавку.

Перед ним лежало письмо. Он перечитывал его в сотый раз, хотя знал наизусть.

«Милостивый государь. Настоящим уведомляем Вас, что срок погашения ссуды в размере 340 (трёхсот сорока) фунтов стерлингов, выданной Вам под залог недвижимого имущества по адресу Пудинг-лейн, № 14, истекает 31 декабря сего года. В случае неуплаты банк будет вынужден обратить взыскание на заложенное имущество. С совершенным почтением, за „Пеннивейт и Ко“ — Дж. Стиббс, старший клерк».

Триста сорок фунтов. Эбигейл знал эту сумму так, как знают имя врага. За год лавка приносила, в лучшем случае, сорок фунтов чистыми. В худшем — ничего. Последние три года были худшими. На Истчипе открылся новый кондитерский магазин «Гантер и сыновья» с газовыми рожками, зеркалами в золочёных рамах и мальчиком в ливрее у двери, и дамы, которые раньше заглядывали к Кэндису за засахаренными фиалками, теперь проезжали мимо. Заём он взял, чтобы перестроить витрину и купить новый медный котёл. Витрину перестроил. Котёл купил. Дамы всё равно проезжали мимо.

Ему было тридцать семь лет. Он был невысокий, круглый, лысый, с рыжими бакенбардами, которые отпустил в двадцать, чтобы выглядеть солиднее, и которые делали его похожим не на солидного человека, а на добродушного кота. У него были розовые щёки, очки-половинки на кончике носа и пальцы, покрытые белыми шрамами от ожогов: кондитер, который не обжигается, — не кондитер, говаривал его учитель, старый мсье Дюваль. Эбигейл был хорошим кондитером. Возможно, лучшим на Истчипе. Его марципановые фигурки, его засахаренные фиалки, его ячменный сахар, прозрачный, как янтарь, знали лет десять назад все дети Сити. Детям он отдавал обрезки марципана бесплатно — по субботам, у задней двери. Это было его единственное расточительство, и от него он не отказался даже сейчас.

Он был холост. Однажды, в двадцать девять лет, он сделал предложение дочери аптекаря с Грейсчёрч-стрит, мисс Агнес Тилл, и получил ответ, что мисс Тилл не может выйти замуж за человека по имени Эбигейл, потому что ей будет неловко перед знакомыми. Он не обиделся. Он вообще редко обижался. Но больше предложений не делал.

В дверь постучали.

Стук был тихий, сухой — будто стучали не костяшками, а чем-то твёрдым. Ногтем. Эбигейл поднял голову. Он не ждал никого. Стук повторился — у задней двери, той, что выходила в переулок, где по субботам он раздавал детям марципан.

Он открыл. На пороге, в морозной темноте, стояла крошечная старуха в чёрной шали.

— Пусти погреться, сынок, — сказала она. — Холодно старым костям.

И подняла лицо.

* * *

Тридцать лет назад, утром двадцать пятого декабря, семилетний Эбигейл Кэндис вышел на крыльцо и нашёл у витрины мёртвого старика ростом с ребёнка. Это он помнил. Это он помнил всю жизнь — и чем дальше, тем отчётливее, как бывает с вещами, о которых стараешься не думать. Детские руки в старческих пятнах. Фартинг в кулаке. Метла у стены.

Но было и другое, что он забыл. Вернее, спрятал так глубоко, что сам перестал знать, где. Теперь, глядя на старуху на пороге, он вдруг вспомнил и это.

Тогда, тридцать лет назад, на той стороне улицы, у стены табачной лавки, на трёхногом табурете сидела слепая старуха в чёрной шали. Она смотрела — белыми, незрячими глазами — прямо на мёртвого мальчика. И улыбалась. А когда маленький Эбигейл поднял на неё глаза, она поднесла палец к губам. Тсс.

Та же шаль. Тот же нос с горбинкой. Те же глаза, белые, как вываренная кость. Ни на день не старше.

— Вы, — сказал Эбигейл. Голос у него сел. — Это вы.

— Я, сынок, — сказала старуха. — Помнишь меня. Хороший мальчик. Отец твой тоже был хороший. Слабый только. Пустишь?

Он должен был захлопнуть дверь. Он потом много раз думал об этом — в те редкие минуты, когда мог думать, — и всякий раз понимал, что должен был захлопнуть дверь. Но он отступил. Не потому, что хотел. Потому, что он был человеком, который всю жизнь пускал детей к задней двери за обрезками марципана, и старуху на морозе он тоже не мог не пустить. Доброта — это ведь тоже привычка. Как и любая привычка, её можно использовать против хозяина.

Старуха прошла в кухню, не касаясь ни стен, ни мебели, будто видела их носом. Села на табурет у остывшей плиты. Повела носом.

— Хороший котёл, — сказала она. — Медный. Новый. Сколько отдал?

— Сорок два фунта.

— А должен?

Он молчал.

— Триста сорок, — сказала старуха. — Пеннивейту. До Нового года. Я знаю, сынок. Мне ветер рассказывает. — Она улыбнулась, и Эбигейл увидел, что во рту у неё нет ни одного зуба, только розовые голые дёсны, как у младенца. — Хочешь, я тебе помогу?

— Мне не нужна…

— Нужна. Всем нужна. Твой отец тоже говорил «не нужна». А потом купил дом в Ислингтоне. С садом. С чугунной оградой. — Она вздохнула. — Хороший был дом. Ты в нём вырос. Ты в нём ел, и спал, и учился у этого француза за двадцать фунтов в год. Думаешь, откуда у кондитера с Пудинг-лейн двадцать фунтов на француза?

У Эбигейла похолодели руки.

— Что вы… что вы сделали с тем мальчиком?

— Я? Ничего. — Она развела ладонями. Митенки, пальцы с длинными жёлтыми ногтями. — Я его пальцем не тронула. Он сам пришёл. Сам стоял. Сам дышал. Никто его не заставлял. Он нюхал, сынок, — бесплатно нюхал, чужое, сладкое. А за всё бесплатное в этом городе платят. Ты-то знаешь. Ты кондитер. Ты лучше всех знаешь, что сахар бесплатным не бывает.

Она полезла под шаль и достала что-то маленькое, белое. Положила на стол рядом со счётной книгой.

Это был ключик. Маленький, с мизинец, сахарный — белый, чуть прозрачный, как леденец, который долго сосали. Головка — кольцом, бородка — с двумя зубцами. Он лежал на чёрной обложке книги и светился слабым, молочным светом, как светится снег в темноте.

— Что это? — спросил Эбигейл.

— Ключ от счастья, — сказала старуха. — Повесишь на шею — и будешь варить. Я дам тебе рецепт. Хороший рецепт, старый, его ещё до Пожара варили. Будешь варить «Утро» — леденцы для дам. Шиллинг штука. Дамы будут ездить в каретах. К Новому году отдашь Пеннивейту его триста сорок и ещё останется. К весне купишь дом. С садом.



Это был ключик. Маленький, с мизинец, сахарный. Он лежал на чёрной обложке книги и светился, как светится снег в темноте.

— А дети?

— Какие дети? — Она удивилась. Удивление было почти искренним. — Дети будут нюхать. Как всегда. Ты им запретишь? Попробуй. Твой отец пробовал — гонял их метлой. Они возвращались. Голодные всегда возвращаются к запаху еды. Такова их натура, сынок. Не твоя вина.

— Они будут умирать.

— Некоторые, — согласилась старуха. — Немногие. Те, что жадные. Остальные постареют на годик-другой. Подумаешь. Ты знаешь, сколько их умирает в Лондоне за зиму просто так? От холода, от голода, от тифа? Сотни. Тысячи. Без всякой пользы. А тут — польза. Для дам. Для тебя. Для банка. Для города. — Она наклонилась ближе, и Эбигейл почувствовал её запах: погреб, гнилые яблоки, и под ним — жжёный сахар. — Город так устроен, сынок. Маленькие колёсики крутят большие. Не ты это придумал. Не тебе и менять.

Эбигейл Кэндис встал.

— Уходите, — сказал он. — Пожалуйста. Уходите.

Старуха не обиделась. Она поднялась с табурета — легко, как девочка, — и пошла к задней двери.

— Ключик оставлю, — сказала она, не оборачиваясь. — Пусть полежит. Подумай до утра. А утром придёт письмо.

Дверь закрылась. В переулке было пусто — ни следов на снегу, ни шагов.

* * *

Утром пришло письмо.

Не от Пеннивейта. От миссис Гантер, вдовы старого Гантера, хозяйки нового кондитерского магазина на Истчипе. Миссис Гантер с прискорбием сообщала, что, по имеющимся у неё сведениям, имущество мистера Кэндиса в январе будет выставлено банком на торги, и что она, миссис Гантер, готова приобрести его заблаговременно, во избежание огласки, за сто двадцать фунтов, включая медный котёл. «Это щедрое предложение, — писала миссис Гантер, — учитывая обстоятельства».

Сто двадцать фунтов. Котёл стоил сорок два.

Эбигейл сидел над письмом до полудня. Ключик лежал на столе. Он не таял — хотя в кухне было тепло, а Эбигейл, не удержавшись, дважды трогал его пальцем, и палец становился липким и сладким, как от настоящего сахара.

В полдень он подумал об отце. О доме в Ислингтоне с чугунной оградой. О мсье Дювале, который учил его варить карамель «на нитку» и «на шар» и бил по пальцам деревянной ложкой, если сироп пригорал. О том, что без этого дома, без этого француза, без этих двадцати фунтов в год он не был бы кондитером — был бы подручным в пекарне, или клерком, или никем. Всё, что он умел, всё, чем он был, — было куплено. Он всегда это смутно знал. Теперь он знал точно — чем.

«Значит, — подумал он, — я уже должен. Я должен с семи лет. Разница только в том, что раньше я этого не знал».

Это была плохая мысль. Хуже всего в ней было то, что она была логичной.

В час дня он сказал себе, что только посмотрит рецепт. В два — что сварит одну пробную партию, маленькую, для себя, чтобы убедиться, что всё это бред. В три он взял ключик со стола. Ключик был тёплый, как живой. Эбигейл продел в кольцо красный шнурок от коробки с засахаренными фиалками и надел его на шею.

И ему сразу стало хорошо.

Тревога ушла — вся, разом, будто её выпустили через форточку. Письмо банка перестало пугать. Письмо миссис Гантер перестало обижать. Лицо мёртвого мальчика у витрины, которое тридцать лет стояло у него перед глазами, стало далёким и плоским, как картинка в чужой книге. Эбигейл Кэндис улыбнулся. Он уже давно так не улыбался — легко, бездумно, как улыбаются фарфоровые пастушки на каминной полке.

Рецепт он нашёл у себя в голове. Он просто его знал, будто всегда знал. Сколько сахара, сколько патоки, сколько малиновой эссенции, при каком жаре, и сколько раз помешать против солнца, и какие слова при этом сказать.

Слова были простые. «Детки-конфетки». Он повторял их, помешивая сироп, и смеялся — так это было глупо и мило.

В четыре часа над Пудинг-лейн поплыл запах.

* * *

Потом были дни, которые он плохо помнил.

Он варил. По ночам — ночью работалось лучше всего, руки сами знали, что делать. Утром он просыпался в кресле в задней комнате, одетый, с ложкой в кулаке, и не помнил, как туда попал. На полках стояли банки, полные леденцов. На каждой — бумажка с надписью, сделанной его почерком. Имена. Детские прозвища. Цифры. «Нелли — 1 г.». «Тэд с Биржи — полгода». Он не помнил, как писал их, и не мог прочесть их без того, чтобы буквы не расплывались, как сахар в горячей воде. Он отворачивался. Ключик на груди был тёплым и тихо, утешительно звенел.

Пальцы у него покрылись новыми ожогами, на этот раз глубокими, до мяса, — он хватал раскалённый котёл голыми руками и не чувствовал. Он увидел их однажды утром и долго смотрел, как на чужие. Потом смазал маслом и забыл.

Первого декабря часы над дверью пошли назад.

Второго декабря приехала первая карета — леди Пеннивейт, жена того самого банкира. Она купила коробку «Утра», съела леденец прямо в лавке, закрыла глаза и сказала: «Боже. Мне снова пятнадцать». Через неделю она привезла подруг.

Пятого декабря Эбигейл Кэндис внёс в банк «Пеннивейт и Ко» первые восемьдесят фунтов в счёт долга. Мистер Стиббс, старший клерк, пересчитал банкноты дважды и поднял на него глаза с выражением, которое Эбигейл, будь он в себе, назвал бы страхом.

— Дела идут хорошо, мистер Кэндис?

— Прекрасно, — сказал Эбигейл и улыбнулся фарфоровой улыбкой. — Детки-конфетки.

Мистер Стиббс промолчал. Он вспомнил потом, рассказывая жене, что от кондитера пахло так сладко, что у него, Стиббса, закружилась голова, и что глаза у мистера Кэндиса были как стеклянные бусины — красивые, блестящие и совершенно пустые.

А напротив кондитерской, на трёхногом табурете, снова сидела слепая старуха. Она появилась первого декабря, вместе с часами. И каждый вечер, когда дети прижимались к витрине, она шевелила губами.

Она считала.

Глава четвёртая. Кристофер

У Тома был друг, и этот друг был сыном торговца, а в Лондоне тысяча восемьсот шестьдесят четвёртого года мальчик из Тэннери-корт и сын торговца с Истчипа могли дружить примерно так же, как кошка и канарейка: возможно, но против всех правил.

Друга звали Кристофер Дадли. Жил он в Сити, на Истчипе, в трёхэтажном доме, внизу которого помещалась лавка его отца. Над лавкой висела вывеска, тёмно-зелёная с золотом: «ДАДЛИ И СЫН. Чай, кофе, пряности. Осн. 1821». «Сын» на вывеске был дедом Кристофера, теперь уже покойным; сам Кристофер ещё не был «сыном» официально, но знал, что однажды им станет, и относился к этому так же серьёзно, как к таблице умножения.

Внутри лавки пахло корицей, гвоздикой, мускатным орехом и далёкими странами, где никогда не бывает снега. Вдоль стен поднимался до потолка шкаф с сотней маленьких ящичков, и на каждом была фарфоровая табличка: «Цейлон», «Ассам», «Дарджилинг», «Мокко», «Ваниль», «Имбирь», «Кардамон». На прилавке стояли бронзовые весы с гирьками — от фунта до четверти унции, — и большой медный самовар, который мистер Дадли привёз пятнадцать лет назад из Петербурга, куда ездил по чайным делам. Самовар был гордостью лавки. Его начищали каждое утро толчёным кирпичом и мелом, и он сиял, как маленькое солнце. В его пузатом боку, как в кривом зеркале, отражалась вся лавка — ящички, весы, покупатели, — искажённая, вытянутая, смешная.

Кристоферу было одиннадцать, как Тому. Он был светловолосый, бледный, аккуратный, в круглых очках в тонкой проволочной оправе — без очков он не видел дальше собственного носа. Носил тёмно-синее пальто с медными пуговицами, зелёный клетчатый шарф и школьную фуражку. Ботинки у него всегда были начищены так, что в них отражалось небо. Он учился в Мерчант-Тейлорс — хорошей школе для сыновей торговцев, сорок фунтов в год, — и был там первым по арифметике и последним по крикету.

Познакомились они с Томом глупо и, как оказалось потом, навсегда. Прошлой весной Том нёс в лавку Дадли пакет от стряпчего, поскользнулся на мокром крыльце, пакет полетел в лужу, а Том — прямо на Кристофера, который как раз выходил. Они упали вместе. Лёжа на мокрой мостовой, поправив очки, Кристофер сказал:

— Если два тела падают с одной высоты, они падают одновременно. Это закон Галилея. Но если одно тело падает на другое, это уже не закон. Это невежливость.

Том хотел дать ему в нос. А вместо этого захохотал, лёжа в луже. И Кристофер, подумав, захохотал тоже. С тех пор они виделись почти каждый день — на улице, у лавки, во дворе за лавкой, где стояли пустые чайные ящики из Кантона и из которых получались превосходные крепости.

Кристофер всё время думал. Он думал «если — то». Если снег белый, а лондонская сажа чёрная, то какого цвета снег через неделю? Серого. Если у сороконожки сорок ног, то сколько ей нужно башмаков к Рождеству? Двадцать пар, но, наверное, ей хватит и носков. Если человек, который всегда лжёт, говорит «я лгу», то он лжёт или говорит правду? Над этим Кристофер думал целый месяц и чуть не заболел. У него была записная книжка в коричневом переплёте, с карандашом на шнурке, и туда он записывал всё, что казалось ему странным, нелогичным или просто интересным. Книжка была исписана на три четверти.

А Том всё время делал. Если есть ледяная дорожка — надо по ней прокатиться. Если сугроб — прыгнуть. Если мальчишка больше тебя — проверить, кто сильнее. Если запертая дверь — узнать, что за ней.

Вместе у них получалось хорошо. Кристофер придумывал. Том делал. Потом Кристофер записывал, что вышло, и они вместе решали, что придумать дальше. Так однажды они вычислили, кто ворует уголь из сарая мистера Дадли (кошка вдовы Пим, которая таскала оттуда

мышей и опрокидывала при этом совок), и так же, несколько позже, вычислили ведьму. Но об этом — потом.

* * *

Отец Кристофера, мистер Хорас Дадли, сорока пяти лет, был торговцем в третьем поколении и, как многие торговцы в третьем поколении, считал себя не торговцем, а чем-то вроде хранителя. Полный, с аккуратным брюшком, обтянутым бордовым жилетом, с золотой цепочкой от часов, в чёрных нарукавниках поверх белой рубашки, с гусиным пером за ухом. Лысеющий, с каштановыми волосами, зачёсанными с боков. Он был вдовцом: мать Кристофера умерла от чахотки, когда сыну было четыре года. Мистер Дадли не женился снова и не собирался. Он жил с сыном и со своей матерью, миссис Лавинией Дадли, семидесяти четырёх лет, в трёх комнатах над лавкой и считал, что этого достаточно.

Мистер Дадли всё считал в уме. Это была не привычка, а природа. Он не мог купить газету, не подсчитав, сколько на ней заработал разносчик, сколько типография и сколько стоила бумага. Он не мог войти в чужую гостиную, не прикинув стоимость ковра, люстры и обивки кресел. Это не делало его скупым — он был, пожалуй, даже щедр, по-своему, по-торговому, — но делало его очень трудным человеком для мошенников. Мошенники рассчитывают на чувства. У мистера Дадли чувства шли после арифметики.

Его мать, бабушка Лавиния, была полной его противоположностью. Она была женщиной чувств — шумных, пёстрых, непредсказуемых. В молодости, говорили, она была красавицей и дважды отказала баронету. Теперь ей было семьдесят четыре, у неё болела поясница, она ходила с тростью из чёрного дерева с серебряным набалдашником, носила кружевной чепец, писала длинные письма давно умершим подругам и не любила, чтобы ей напоминали о возрасте. Внука она обожала, сына уважала, а на всё остальное смотрела через лорнет с выражением лёгкого недоумения: неужели мир всё ещё продолжается, хотя она в нём уже не танцует?

В конце ноября к бабушке Лавинии заехала с визитом её давняя приятельница, миссис Кроули. Миссис Кроули было семьдесят, она носила вдовий чепец и страдала ревматизмом. Но в тот день она вошла в гостиную без палки. Щёки у неё были розовые, а голос — звонкий, как в двадцать лет.

— Лавиния, — сказала она, опускаясь в кресло, — ты не поверишь.

Вечером того же дня бабушка Лавиния послала служанку на Пудинг-лейн с полугинеей.

* * *

В субботу, третьего декабря, Том и Кристофер катались на ледяной дорожке перед лавкой Дадли.

Дорожку они раскатали сами, накануне вечером, вылив на мостовую три ведра воды — Кристофер вычислил, что при морозе в восемнадцать градусов по Фаренгейту три ведра превратятся в лёд за сорок минут, и не ошибся. Дорожка вышла длинная, от крыльца лавки до самого угла, блестящая, как зеркало. Разбег — и вжжжик! Том катился стоя, раскинув руки, как настоящий конькобежец на Серпентайне. Кристофер — сидя, на школьном ранце, потому что так, по его словам, было «устойчивее и, следовательно, разумнее».

Прохожие ругались. Один господин в цилиндре поскользнулся, сел на мостовую и долго, с чувством, перечислял, что он сделает с родителями тех, кто это устроил. Мальчики слушали из-за угла и хихикали.

И тут дверь лавки распахнулась, и на крыльцо вышла бабушка Лавиния.

Без трости.

Том видел бабушку Лавинию много раз и хорошо знал, как она выглядит: сгорбленная, с тростью, в чепце, медленная, как баржа на Темзе. Сейчас на крыльце стояла женщина, которой можно было дать лет пятьдесят пять. Спина прямая. Чепец съехал набок, и из-под него выбивались волосы — не седые, а каштановые, с рыжиной. Щёки горели. Глаза блестели. В руке — коробочка, перевязанная вишнёвой лентой.

Бабушка Лавиния посмотрела на ледяную дорожку. Посмотрела на мальчиков. Подмигнула.

И, подхватив юбки, сбежала по ступенькам и прокатилась по дорожке до самого угла — стоя, раскинув руки, с визгом, от которого у кэбмена на углу шарахнулась лошадь. А на углу, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, сделала три шага польки, щёлкнула каблуками и рассмеялась.

— Ух! — сказала бабушка Лавиния. — Как в семнадцать лет! Кристофер, мальчик мой, почему ты мне не сказал, что это так весело?

И, не дожидаясь ответа, ушла по Истчипу в сторону Пудинг-лейн — быстро, лёгкой походкой, помахивая пустой коробочкой. За новой.

Кристофер сидел на ранце посреди дорожки с открытым ртом. Том — тоже. Трость бабушки Лавинии лежала на крыльце, брошенная, как ненужный зонтик.

Дверь лавки снова открылась. На крыльцо вышел мистер Дадли. Он посмотрел вслед матери, посмотрел на трость, поднял её, повертел в руках. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, который сверяет счёт и находит в нём ошибку не в свою пользу.

— Это шестая коробка, — сказал он ни к кому особенно не обращаясь. — Шестая за две недели. По полгинеи. Три фунта три шиллинга. За конфеты.

— Зато бабушка помолодела, папа, — сказал Кристофер.

— Вот именно. — Мистер Дадли спустился на одну ступеньку и посмотрел на мальчиков сверху вниз — серьёзно, как на взрослых. — Именно это мне и не нравится. Кристофер. И ты, Томас. Послушайте меня внимательно. Сахар стоит пять пенсов за фунт. Лучший, рафинад, — шесть. Из фунта сахара выходит сотня леденцов, если не жадничать. Добавьте патоку, эссенцию, уголь, работу. Самое большее — фартинг за штуку. Самое большее. А Кэндис продаёт их за шиллинг. В сорок восемь раз дороже. — Он помолчал. — Я тридцать лет в торговле. Я знаю одно правило, которое никогда, ни разу меня не подводило. Если вещь стоит намного дороже, чем то, из чего она сделана, — значит, платят не за материал. Значит, в ней есть что-то ещё. И это «что-то» кто-то откуда-то берёт. Спросите себя, из чего она сделана на самом деле. И кто за это платит.

— Бабушка платит, — сказал Кристофер.

— Бабушка платит деньгами, — сказал мистер Дадли. — Я спрашиваю, кто платит остальным.

Кристофер медленно достал из кармана записную книжку и что-то записал.

Том кивнул. Но, по правде говоря, он слушал вполуха. Потому что в этот момент на часах Сент-Пола, высоко над крышами, пробило четыре. А это значило, что по Пудинг-лейн уже потёк запах.

Он знал это так же точно, как знал, сколько пенни у него в левом кармане. Он чувствовал это — не носом даже, а животом, тем местом под рёбрами, где живёт голод.

Мистер Дадли вернулся в лавку. Кристофер дописал строчку, закрыл книжку, сунул карандаш в петлю.

— Что ты записал? — спросил Том.

— «Кто платит остальным?» — прочёл Кристофер. — Со знаком вопроса. — Он помолчал. — Знаешь, Том, по-моему, папа прав. Это нелогично. Если бабушке стало на двадцать лет меньше, значит, где-то кому-то стало на двадцать лет больше. Годы не могут просто исчезнуть. Ничто не исчезает. Это закон.

— Чей закон?

— Ну… чей-нибудь. Наверное, Ньютона. У него много законов.

Том хмыкнул. Ему было не до Ньютона. Ему хотелось на Пудинг-лейн.

— Пойдёшь со мной? — спросил он. — К витрине?

Кристофер посмотрел на него поверх очков. Он вдруг стал очень похож на своего отца.

— Нет, — сказал он. — И ты бы не ходил.

Том засмеялся, сунул руки в карманы, нащупал пенни — раз, два, три — и пошёл. Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп. Кристофер смотрел ему вслед, пока он не свернул за угол. Потом снова открыл книжку и записал ещё одну строчку, мелко, под первой.

«Том ходит к витрине. Надо узнать, зачем ходят все».

Глава пятая. Щепка

Лучшим другом Тома во дворе был мальчик, у которого не было двора.

Его звали Билли, а фамилии у него не было — или была, но он её не знал, что в Лондоне шестидесятых годов означало одно и то же. Щепкой его прозвали за то, что он был тоненький, лёгкий и, как щепка в весенней канаве, всегда выплывал. Ему было девять лет. Мать его, прачка из Ламбета, умерла от холеры в пятьдесят девятом, отца он не помнил совсем. Два года он прожил в работном доме на Уайтчепел-роуд, а потом сбежал — летом, через окно уборной, вместе с двумя другими мальчиками, — и с тех пор жил сам.

Жить самому в Лондоне значило вот что. Утром, затемно, вставать и бежать на свой перекрёсток — у Биржи, на углу Корнхилла, — пока его не занял кто-нибудь другой. Мести. Мести снег, навоз, грязь, гнилую капусту, всё, что бросает на мостовую город в миллион человек, — мести так, чтобы господа в начищенных сапогах могли перейти улицу и не испачкать подошв. Кланяться. Протягивать ладонь. Получать фартинг, или полпенни, или ничего, или удар тростью, если господин был не в духе. На заработанное — к полудню, если повезёт, набиралось три-четыре фартинга — купить у разносчика горячую картофелину или кусок пудинга с изюмом, без изюма. Вечером — снова мести. Ночью — спать.

Спал Билли под арками.

Железная дорога из Лондон-Бриджа на Гринвич шла над Саутварком по кирпичному виадуку — сотни арок, одна за другой, высокие, тёмные, гулкие. Под некоторыми арками устроились мастерские, склады, конюшни. Под другими — никто. Вернее, никто из тех, кого город считал за людей. Там ночевали беспризорники. Двадцать, тридцать, иногда больше — в зависимости от погоды и от того, насколько ревностно в эту неделю гонял их констебль. Они разводили костерки из щепок и угольной пыли, которую собирали у газового завода, спали вповалку, прижавшись друг к другу, как воробьи, и каждые десять минут над их головами с грохотом, от которого сыпалась кирпичная крошка, проходил поезд.

Билли носил огромное чужое пальто. Оно было мужское, тёмно-серое, когда-то хорошее, а теперь — дырявое, засаленное, с одной пуговицей. Билли подпоясывал его верёвкой, а полы волочились по земле. Пальто было его домом: под ним можно было спать, в нём можно было спрятать добытое, в его рукава можно было засунуть руки до локтей. Ноги Билли заматывал тряпками и подвязывал бечёвкой. Башмаков у него не было с лета.

При всём этом он был самым весёлым человеком, какого знал Том. Он свистел, как дрозд, — так похоже, что настоящие дрозды в Сент-Джеймсском парке ему отвечали. Он знал наизусть все рождественские гимны, и когда на Корнхилле пел хор, Билли пел вместе с ним, со своего перекрёстка, звонко и чисто, и господа, переходя улицу, иногда давали ему за это не фартинг, а пенни. Он умел ходить на руках. Он умел вытащить кошелёк из кармана так, что хозяин не замечал, — но не вытаскивал. «Мама не велела», — говорил он, и Том не спрашивал, как мама могла велеть, если она умерла, когда Билли было четыре.

Познакомились они на перекрёстке. Том бежал с пакетом из банка, Билли мёл, Том наступил в только что сметённую кучу и обрызгал Билли с головы до ног. Билли огрел его метлой. Том дал сдачи. Через пять минут они сидели на ступенях Биржи, деля пополам горячую картофелину, которую Том купил на только что заработанный пенни — в знак примирения. Это было два года назад. С тех пор Том, когда у него было лишнее, отдавал Билли половину. А Билли, когда у Тома не было ничего, отдавал ему всё.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.